

14

Словно услышав меня, она заболела.

Наперезанимая друг у друга и девчонок, урезав меню и перехватив, как попало, мы собрались в маленькой аудитории своей кучкой. Причалили Коробкин с Шидриным, зашел Яков Сенгур — бывший тихоокеанский моряк, как и Коробкин — из последних военных призывов.

Экономические проблемы конкретного студенчества послесталинского периода возникли, видать, по зову живота, хотя мы все-таки уже кое-как, но поели. Что призывало к разуму и уравновешенности.

— Как жить, пострелы? — спросил, ухмыляясь, Яша. — Страшитесь бытия? Как видите, все по классике, оно определяет сознание!

— Да нету у нас никакого сознания! — преувеличил я.

— Есть, есть! — воспротивился Сенгур.

Его и Коробкин поддержал:

— Еще какое!

И утвердил, как гвоздь забил:

— Только вы его пока не ощущаете!

Остальные похохатывали.

— Пока вы тут бауетесь, — глубокомысленно и авторитетно заявил Яков, — никакое сознание вам не указ.

Вот это было уже по делу. Я согласно кивнул.

— Что ты советуешь? — спросил вежливо Минибай.

— Взять вагон!

— А что! — воскликнул Игорек Коробкин, представитель старой закваски. — Нас тут сколько? Шестеро! Запросто угольный вагон может разгрузить!

— Согласен возглавить, — кивнул Снегур. — Вас ведь, интеллигенцию, учить всему надо.

Подумав немного, поговорив о подробностях дела, на которое звали старослужащие, услышав их предупреждения, что нужна для такого дела бросовая одежда — ее потом не отстирать, по зиме еще и фуфайка, вроде известных эковских, а идти на разгрузку предпочтительно в ночь, решили браться за дело в субботу, чтобы не пропускать занятия, а потом — сразу в баню.

Лично я глубоко задумался. И баня на железной дороге, особенно порадовал Яша-моряк, бесплатная для грузчиков — только мыло да вехотку не забывайте.

Чем больше слышал я этих реалистических подробностей, тем больше сомневался именно в экономической целесообразности такого воссоединения бытия и сознания. Мне почему-то совершенно не верилось, что таким разгрузочным путем, с помощью перемещения каменного угля из громадного вагона, сознание наше изменится к лучшему, а бытие усовершенствуется.

Я попробовал осторожно возразить:

— Но горный институт за углом! Пусть горняки этим занимаются. Мы — журналисты! Почему не смотрим сюда?

— Хе, журналисты! — усомнился Коробкин. Тут же поправился: — Это конечно! Но кто же и где нас ждет?

— Ну а почему, — поддержал меня Джурка Скок, — нам самим не пойти?

Минибай тоже кивал, принципиально соглашаясь.

— Не выгонят же! — агитировал я. — Придем. Представимся. Мы, мол, студенты журфака. Дайте задание. Напишем чего-нибудь, переделаем, еще раз переделаем! Но надо же учиться! Мы уже здесь!

Мнения все-таки раскололись. От решимости куда-то идти и о чем-то писать до искомого вознаграждения путь был тернист и неверен. А дорога от железнодорожной станции и разгрузки вагона до выдачи денег поутру даже без предъявления документов — коротка и очевидна.

Яков, Коробкин и Шидрин пересели друг к другу поближе, и разговор у них оказался совершенно конкретным. Так что они быстро разошлись.

Наша троица тоже недолго мыкалась. Мои приятели предлагали просто идти в редакцию и попросить задание. Я, как имеющий опыт, раскрыл свежую газету и прочитал в разделе объявлений, что через два дня открывается выставка лыж и другого спортивного оборудования для зимы.

15

Мы бродили по этой выставке, озираясь, нет ли конкурентов с блокнотами и фотоаппаратами. Однако открылась она в воскресенье, народу ходило совсем ничего, а лыжи — и такие, и этикие, и гоночные для соревнований, и широкие, для охотников, сияли лаком и зывали к потреблению.

Управители стендами разговаривали с нами охотно, и узнав, что мы студенты с журналистики, совсем уж располагались к нашей троице. А один мужичонка, красноносый и широкий, даже подморгал нам, указывая за кулисы. И мы, грешные, не устояли: сперва из наивности мы туда просто заглянули, а увидев стол с крепкими напитками, шархнулись назад. Но широкий дядька нас попридержал, дал неказистую листовку с рекламой продукции, а потом все-таки налил чего-то цветного, но не коньяк, пояснив, что это снимает усталость с охотников, прошедших километров сто на лыжах, прямо-таки в пять минут.

И он заставил нас пригубить этот напиток, выставив откуда-то белоснежные, завивающиеся и холодные кусочки. Я подумал, что это сало. Но это оказалась стро-

ганина, рыба нельма, прямо из Якутии, да и сам лыжных дел начальник раскрылся широкой душой, что по нации он якут, а якуты все очень доброжелательные и щедрые, потому что в Якутии очень холодно и все должны помогать друг другу. Его имя, в знак благодарности, как и его продукция для зимней охоты, мелькнул потом в нашем пробном сочинении. Жаль, что лишь мелькнет, потому что написали-то мы про него щедро, живописно и впечатляюще, да строгие редакторские ножницы все это отрезали.

Широкий якут настоял на трех рюмочках с православной убедительностью — «Бог троицу любит», и мы, наперебой распросив о его славной жизни и деятельности, покинули удаленный от центра города павильон.

Это нам и помогло. До выставки, да еще в воскресенье, штатные корреспонденты и правда не добрались. А потому когда мы, злостно пропуская лекции, явились с утра в редакцию газеты, носившей название «За смену!», да еще и прямо в приемную редактора, говорить с нами долго не стали.

Вышла какая-то поджарая и не старая дама, нетерпеливо узнала, кто мы и откуда, забрала заметку, которую мы напечатали на казенном университетском «Ундервуде», удалилась, а очень скоро вернулась и, уже улыбаясь, сообщила, что заметка на первый раз принята, но пойдет с сокращением, а вообще нам надо познакомиться с отделами. Сдавать заметки туда. А уж отделы будут и задания давать, и материалы ставить.

Мы, дружно вскочив, кивали, были внимательны, как дрессированные псы, готовые верно служить, что получило немедленную оценку. Женщина, представившись Эльзой Павловной, тут же окликнула невысокого курчавого человека едва нас постарше. Его звали Толя Пудоль, он учился на четвертом курсе нашего же факультета, но уже работал в штате, куда приглашали до окончания вуза лишь выдающихся — если и не мастеров то подмастерьев.

Все это сокрушало наши прежние устои, тут же возводя новые. Толя Пудоль, отвергнув наше вежливое желание узнать его отчество, повел в свой кабинет и стал расспрашивать о наших творческих успехах. Из расспросов прояснилось, что вообще в газетах ранее печатался только я. Это его не огорчило. Бросив фразу: «Ну надо же когда-то начинать», — стал расспрашивать, что нас лично — каждого — интересует в этой жизни особенно.

Вот вопрос был так вопрос! Мы не знали, что ответить. Толя Пудоль, в которого мы все трое сразу влюбились, улыбнулся, не смущаясь:

— И меня тоже сперва интересовало все подряд. Но каждому материалу нужна тема, идея. Важен жанр — очерк, интервью, информация, она может

быть развернутой, содержательной, даже сенсационной.

Мы ушли в университет, опоздав на несколько пар — два занятия по часу отводились каждой дисциплине, — и весь день нас трясло и покачивало.

К концу занятий все уже знали, что мы побывали в редакции. А наутро нас ждала оплеуха. Из заметки про лыжную выставку было напечатано не больше тридцати строк из двух-то с половиной страниц. Просто сообщение — и все. Хорошо еще, что не выбросили про широкие якутские лыжи для охотников и фамилию дяденьки, который угощал нас строганиной из нельмы.

Эх, что было за угощение! Но и что за позор — всего тридцать строк! И под таким позором стояли сразу три фамилии. Ну и тяжесть же подняли эти три молодых парня!

16

Надо же! А нас поздравляли! Особенно эта угольная тройца во главе с матросом Яшкой! Причем вполне искренне, как ни вглядывайся в них: никакой сатиры или подвоха. Джурка Скок пытался оправдываться, размахивал аж двумя с половиной страничками нашей эпопеи про лыжную выставку, напечатанными под копирку, пытался еще и цитировать отдельные творческие находки, но даже Минибай его осадил. Всем ведь свой черновик не предъявишь. Но зато очевидны лишь тридцать жалких и сухих строчек, да еще с тремя сразу фамилиями! Вот гиганты пера!

Руководствуясь, видно, чувством гуманизма, угольщики выдали нам по двадцатке в долг, ибо мы не ведали, состоится ли литературное вознаграждение, когда, да и вообще, удобно ли об этом рассуждать, а друзья-трудяги, сбив мозоли на ладонях, уже чавкали свою победу, пусть не такую публичную, как мы, но вполне себе съедобную. К тому же тетя Дуся все болела.

Однако тем все дело не кончилось. Однажды нашу тройцу встретил в коридоре Зиновий Абрамович Яновский, приземистый, широкоплечий, седой старикан — преподаватель газетной техники. Был он обстоятелен, нетороплив и подчеркнуто ко всем доброжелателен, считался мэтром, потому что до войны служил собкором центральной газеты с каким-то индустриальным названием, а значит, был уважаемым журналистом в уральской столице.

Остановив нас, он улыбнулся и поздравил с дебютом в местной газете, сразу объяснив главное:

— Вы совершенно не смущайтесь незначительностью события! В газетном деле мелочей не бывает! Все важно! До очеркистики, до аналитики нескорый путь! Так что поздравляю!

И не пожав нам рук, обошел нас с краю, двинулся к дверям кафедры.

Вот тут нас что-то и обуяло. Запоздалый, может быть, испуг.

— Ты смотри! — сказал недоуменно Джурка Скок. — Какая-то заметулька, а все увидели!

— Нельзя больше халтурить! — изрек задумчиво Минибай.

Я не согласился.

— А мы разве халтурили?

— Ну значит, в редакции надо толкаться, когда печатают.

— Нас же Пудоль зовет, — сказал Скок. — Значит, надо идти. Ходить надо. Сидеть там надо. Бегать, если пошлют.

В общем, мелкая наша слава, этакая шеклейка, случайно попавшая в сети, рассчитанные на щуку, мелькнув хвостиком, унырнула в небытие, как факт незначительный, и хоть слегка замеченный, но роли не играющий.

К тому же пришло время первой сессии.

17

О боже! Мне мало было ее сдать. Мне требовалось сдать без троек, чтобы получить стипендию. Мама ласково писала мне, чтобы я поусерднее занимался, верила, что я уже совсем самостоятельная персона и преодолю свои испытания, в которых на первом месте стоят экзамены. Это письмо, конечно, я принимал как поддержку. Но еще и как мамину на меня надежду. И я вибрировал после этих писем. Ведь сессия — это две недели, когда не знаешь, откуда придет удар. Вроде бокса в темной комнате.

Среди опасных территорий я, конечно же, считал ОМЛ — основы марксизма-ленинизма. Полем, усеянным минами, каждая из которых способна оторвать мне голову, полагал французский язык. Непрерывно покалывала в животе мысль о литературоведении. Зато я плавал, как рыба в пруду, когда речь заходила о литературе. Сначала девятнадцатого века, позже — двадцатого.

И был у нас еще русский язык — великий и могучий.

Тут, должен признаться, я влип в положение совершенно для меня неожиданное. Как я уже замечал, был у меня такой юношеский недостаток — я писал без ошибок. И сам этому не верил. При этом совершенно не знал правил русского языка, кроме примера на деепричастие. Я ведь и пятерик на вступительном сочинении заработал не только на содержании, а значит, на памяти, но еще и на совершенно безошибочных страницах.

В общем, еще по осени у меня начался неожиданный роман с родным языком в совершенно подарочной упаковке. Сначала у нас был крутой диктант. В аудиторию



пришла сухонькая и седая старушка Агния Ивановна Данилова и, оглядев сквозь бликующие очки публику, спросила с явным сарказмом:

— Значит, вы журналисты?

— Будущие, — кто-то осмелился пискнуть. Конечно, из девчонок.

Но Агния Ивановна будто и не услышала писка. Довольно холодно она проговорила:

— Ну вот мы и посмотрим, какие вы журналисты. Откройте чистые тетради. Пишем диктант.

И мы принялись под ее диктовку писать диктант невероятной, похоже, трудности. И я слегка страшился, но, похоже, так и не понял, в чем состоял подвох милой старушки. Диктант написали, сдали тетрадки, девчонки-медалистки повернулись возле строгой доцентки, пытаясь заговорить, но Данилова на них не глядела, женской солидарности не проявляла, сунула пачку тетрадей под мышку и удалилась.

Где-то через неделю занятия повторялись, и Агния Ивановна вошла к нам разъяренная. Это было замет-

но без всяких пояснений. Каблучки ее стучали громко, требовательно и беспощадно. Она свалила на стол пачку тетрадей — полсотни штук, обвела взглядом зал. Повисла тревожная тишина. Яростным голосом спросила:

— Кто такой Николай Кузнецов?

Вот уж сердце-то когда обрывается! Со страшной скоростью прокрутил я в себе все свои прегрешения начального студенчества. И ничего, кроме стирки в бане, не вспомнил. Но при чем тут это?

Пришлось встать и признаться повинным, неуверенным голосом:

— Я.

— Вы можете быть свободны! — вылила на меня ушат ледяной воды замечательная старушка. И тут же, забыв про меня, почти крикнула: — Позор! Журналисты! Только один из вас написал диктант без ошибок! Как же вы будете работать? О чем — и как! — писать?

Я все еще стоял, ничего толком не понимая. И тут Агния Ивановна стрельнула в меня солнечными бликами своих очков:

— Идите, идите, вы свободны! Остальные будут писать диктант снова!

Реакция зала была нервной. Девчонки бросились доставать новые тетрадки. Кореша мои громогласно поражались знакомству с абсолютно грамотным коллегой. А мне не оставалось ничего, кроме как отшучиваться:

— Учитесь грамоте, молодые друзья! Помните, что сказал Тургенев? «О великий и могучий русский язык!»

Все это я отвечивал, разумеется, вполголоса, в ответ мне слышалось сдержанное хихиканье, сильно замешанное на тяжелых вздохах.

Не так уж мне часто доводилось шляться по университетским широченным коридорам посреди учебного дня, без всяких целей, да еще два часа подряд. Я помечтал на подоконнике о весне, вглядываясь в снегопад, безуспешно полистал кого-то из классиков марксизма-ленинизма, попробовал разобраться, почему это именно я вдруг стал самым грамотным на всем курсе. И сделал открытие, в котором нет никакой тайны.

Ну да, просто я любил читать, вот и все! А читая и порой не сразу вникая в смысл фразы, я возвращался и перечитывал одну и ту же строчку и раз, и другой. И всегда удивлялся, как знаки препинания помогают понять смысл, как они подчеркивают значение написанного. Бывало, я перечитывал фразу, стараясь сделать это с выражением, и походило, что я обучался чувствовать не только смысл и суть, но еще и ритм, а он всегда назначается знаками препинания!

Читать надо больше, вот что! — как-то не по-студенчески думал я о самом себе. И не торопиться, когда читаешь! И запоминать при этом, забыв про всякие правила, как пишутся слова и где возникают запятые.

Правда, всякие мои попытки раскрыть эту тайну друзьям заканчивались энергичным согласием, сотрясением кивающих голов, и только. Так что, может быть, я и не прав и писать надо исключительно по вызубренным правилам?

18

Скоро я и сам в том убедился. По литературе XIX века я схлопотал пятерку, по французскому уговорил поставить зачет, но вот здорово подорвался на старославянском.

Ведь наше отделение журналистики было лишь частью историко-филологического факультета. И так выходило, что мы должны быть сперва филологами, затем историками, а уж потом — что получится.

Мысль, особенно по новейшим временам, совсем не бессодержательная, хотя бы потому, что нынешние журфаки и их выкормыши, кроме, мягко говоря, на-

мальства, если не сказать наглости как странного профессионального умения, мало чему обучены, лишь выборочно начитанны, дурно информированы, а насчет русского языка и грамотного его применения так вообще не подкованы. Спроси-ка, они ведь и не скажут, чем слаба или сильна неподкованная лошадь.

Но в нашу пору нас ковали на все четыре копыта. Только перед нами у журналистов отменили латынь — старинную основу филологии. Зато прибавили основы промышленной экономики. И мы, тогдашние щенята, жарко приветствовали такие изменения. Так что экзамен по старославянскому языку принимался как отмирающая, но необходимостью.

И я подорвался на этой mine. Все сидели по разным углам больших аудиторий, то кучкуясь, то разбредаясь, и была в этом подходе к трудному экзамену старая, проверенная временем мудрость: «Каждый умирает в одиночку».

Из нашей троицы я пошел на пытку последним. Джурка и Минибай как-то провернулись, хотя готовились мы вместе. Они получили по четвертаку, а мне пыточных дел мастер вывел трояк.

Все! Это был полный облом. Мне требовалась четверка, иначе еще один семестр жить без стипендии! С трояком, весь какой-то посиневший — то ли от холода, то ли от ужаса, — вышел и матрос тихоокеанского флота Яков Сенгур. То же самое произошло со славным защитником Родины Игорем Коробкиным! Ничего себе!

Рядом вился Боба Виннер, наш с Джуркой сосед по жилью, известный филолог и ярко выраженный жлоб. Как ворон, он летал возле дверей, за которыми шла экзекуция современной молодежи, требовавшая от нее не только верного прочтения старославянских сочинений, но и правил, утверждавших тогдашнюю грамотность.

Нет, это было невыносимо! Выносимо и близко, конечно, Бобе Виннеру, который, оказывалось, запросто овладевал не только немецким, английским, французским, но еще и старославянским — на кой черт он ему сдался? Да еще и предлагал мне свои услуги:

— Это хороший дядька! Он меня любит! Давай я с ним поговорю!

Речь шла о преподавателе старославянского языка.

А этот яростный дока старого славянства имел сразу несколько особенностей, много, как оказалось, знавших в наших судьбах. В свои шестьдесят лет он только что защитил кандидатскую диссертацию по особенностям своего предмета, первый раз женился и родил первого ребенка. На войне, по здоровью, не был.

Ясное дело, что наши рассуждения на такие темы могли происходить только за закрытыми дверями или в

общезжитских комнатах, и мнению учеников до учителя не доходило. Но он, похоже, интуитивно предполагал неровное к себе социально-политическое отношение юных масс. И тайно, видать, бередя самого себя, вымещал на новых людях свои собственные неурядица.

Я горевал! Был в самом настоящем отчаянии! Яшка и Коробкин померкли так, будто враг взял их в плен, пытал и выбросил на мороз! Этим без стипендий совсем невмочь: у них-то не было мамы с папой, которые пришлют перевод, если худо.

Конечно, это не я очутился на первом месте в числе пострадавших, но соратники по учению искренне встретились нашей общей участью. Когда вышел последний из сдававших, Минибай как комсорг, Джурка и Боба Виннер, вызывавшийся быть проводником, зашли к Старославянцу. Разговор был некороткий и конфликтный, это слышалось даже через дверь, наконец мои разъяренные дружки и благостный, в отличие от них, Боба появились на пороге.

— Идите! — воскликнул он. — Все трое! Сразу! Второй заход!

Тогда на кафедре русского языка не было молодых. Все очень пожилые, Агния Ивановна Данилова считалась ветераном русскоязычного фундамента факультета, и ее резкая речь частенько пробивалась из-за неплотно прикрытой кафедральной двери. Старославянец не был громок и не был, похоже, сильно почитаем коллегами, но все равно что-то значил, чего-то, возможно, сохранял. Глядишь, и тайно предвидел грядущий расцвет старославянского языка в русской жизни.

Однако до этого было еще далеко, из того, послевоенного времени, совершенно не видно, в то время как наша беда стояла буквально перед глазами.

Коренастый, нехуденький, сильно обтрепанный, совершенно лысый, явно неудачливый, наш Старославянец, не глядя нам в глаза, предложил сесть всем троицам за стоявший перед ним стол. Мы поспешно уселись.

По-прежнему не глядя на нас, он спросил зачетку у матроса тихоокеанского флота, раскрыл на странице, где стояла тройка и, ни слова не говоря, поправил ее на четверку. Это было видно даже издали. Сказал ему довольно нейтральным, почти доброжелательным голосом.

— До свидания!

Потом взял зачетку у лысеющего Коробкина. И вся церемония повторилась. Но когда дверь за Игорем притворилась, этот человек, почти просительно посмотрел на меня и сказал:

— Ну с ними-то все понятно! Люди воевали! Но — вы!

До меня что-то слабо доходила эта попытка усовершенствовать мою персону. Я даже не мыслил о такой постановке вопроса. А он продолжал:

— Вы же молодое поколение! Только кончили школу! Вам жить и жить! А вы не можете понять язык, которым говорили наши предки!

Я понял, что дело мое фиговое, что сегодня вечером, не откладывая на завтра, я сяду за письмо, в котором сообщу маме, что не мог освоить старославянский язык хотя бы на четверку, и вот снова не заслужил простецкой студенческой стипендии в 220 рэ, а посему приношу всяческие извинения и полагаю, что мне уж лучше и покинуть сей строгий государственный университет.

Похоже, в думах своих я повесил кручинную голову свою, но тут услышал последнее обвинение, меня, похоже, убивающее наповал, а Старославянца, стало быть, оправдывающее окончательно и самым убедительным, обращенным в мое трагическое будущее, образом.

— Вот вы! — Уже почти расслабился он окончательно, по ходу своих аргументов, утверждаясь в незыблемости моей тройки. — Будущий журналист! — Я глядел на него не моргая. Я был кроликом перед беспощадным удавом. — И как же вы будете писать! А ведь вы должны хорошо писать! Грамотно писать!

Он передохнул, набирая полную грудь воздуха, чтобы окончательно пригвоздить меня. И произнес опасный приговор:

— А грамотно писать современным языком нельзя, не владея языком старославянским!

— Можно! — квакнул я.

И в этот миг почувствовал, что победа за нами. И не такой уж он удав. А я не такой кролик.

Знаете, находит на нас, грешных, хоть и не часто, а даже весьма редко, такое ощущение победы, предчувствие удачного конца, подспудная вера в благополучный исход — даже в самые трудные мгновения.

— Можно! — повторил я, а он удивился:

— То есть?

— А я пишу на современном языке без малейших ошибок! — без тени скромности заявил я.

Он даже хохотнул.

— Даю руку на отсечение, такого не может быть!

— Может!

— А кто подтвердит?

И я проговорил, совершенно наглая:

— Агния Ивановна Данилова!

— Что ж! — ответил он, будучи абсолютно уверен в моей лживости. — Я спрошу у нее. И если она! Подтвердит ваши знания! В русском языке! Готов, знаете ли, поставить вам даже пятерку! Если угодно!

Щелкнул замок в его затасканном портфелишке, в другой он держал мою зачетку. И вот такой странной конфигурацией, которую кавалькадой, конечно, не назовешь, мы вышли из аудитории.

Толпа, скопившаяся у двери, испуганно расступилась, краешком глаза я разглядел сострадающие лица Яшки, Игорька, Минибая и Скока. Только Виннер отчего-то лыбился и шел в отдалении за нами: впереди Старославянец с моей зачеткой в одной руке и портфельчиком в другой, и я, идущий уверенно и спокойно. Ни черта, со стороны, конечно, не поймешь!

Мы подошли к кафедре. Я молил небо о том, чтобы Агния Ивановна была там, а не ушла, например, в буфет или туалет, или вообще бы не отсутствовала в этот день. Небеса услышали меня. Но этому предшествовала пауза. Обычно громкие голоса за дверью кафедры сегодня были тихи, а для коридора и вовсе неслышными.

Время для меня замерзло, все часы в университете просто остановились. Тем не менее к кафедре подтянулись близкие мне болельщики. Мы молчаливо топтались, болтовня не получалась.

Наконец приотворилась дверь, и Старославянец, даже не глядя в коридор, протянул в щель руку с моей зачеткой, абсолютно уверенный, что кролик тут же схватит искомую морковку. И тут же лизнет руку хозяина.

Я схватил зачетку и распахнул ее. А распахнув, не поверил. А поверив, не поверил снова. И наконец, поверив, просто рухнул на спину.

Я катался с боку на бок и беззвучно хохотал. А вокруг меня стояли мои дружки, ничегошеньки не понимающие. Наконец, весь вывалявшись, в куртке и брюках, разом ставших серыми от пыли, я встал на четвереньки и уже захохотал в голос, почти сходя с ума.

Я протянул зачетку друзьям, и они стали тоже — если не падать, то качаться и приседать, — и такой возле кафедры русского языка образовался хохот и шквал, что дверь открылась, в проеме явилась Агния Ивановна с совершенно отрешенным лицом и проговорила:

— Скромнее, молодые люди! Скромнее!

За бликующими стеклами очков не было видно глаз. Но я подозреваю, что они не глядели так строго, как звучал ее призыв. А ржали мы потому, что в моей зачетке была зачеркнута тройка (поср.) и вписана четверка (хор.). Но потом была зачеркнута четверка (хор.) и поставлена пятерка (отл.).

Вот таким справедливым — и честным! — образом современный русский язык защитил меня от старославянского.

Откуда-то из тьмы подсознания электрическим накалом выплыл афоризм классика: «Человечество смеется расстаетса со своим прошлым».

Ах, как я ошибался!

Вместе со всем человечеством!

На зимние каникулы я уехал домой. И хотя стояли жесткие холода, та морозная зима казалась мне эпохой ликования. Без конца вспоминал: а теперь у меня есть стипендия. Я не хуже других!

Чуть не сразу оказался на студенческих вечерах — сперва в родной мужской, потом в соседних женских. И видел, какими внимательными глазами смотрят на меня наша бывшая классная и старый математик Иван Алексеевич, который даже обнял меня.

Весь остальной наш класс разбежался по техническим институтам, в основном ленинградским, хотя и трудным, но, видно, ясным по своему существу нашим учителям. Витька Кошкин учился в военмехе, а это означало, что будет конструировать нечто секретное и, конечно, значительное, Серега Суворов в железнодорожном, а я умотал на восток, да еще и в гуманитарные какие-то облака, с будущим доступом к печатному слову. Что это значило для них? И что — для меня? Даже взрослым в этом еще только предстояло разобраться.

Они и пробовали это сделать, да я, похоже, еще не годился для таких разборок, разъятию своих мыслей и намерений. Ведь не расскажешь же им про мои приключения со Старославянцем?

Студенты, конечно, ценились на школьных вечерах, особенно в женских школах. И как взирали на нас десятиклассницы — совсем новые лица! Однако межвозрастные противоречия неразумных царствовали в нас, и мы воротили от них носы, называя про себя шмакодявками, дескать, вы из других поколений. И нам не до вас! Подрастите сперва!

Пройдет совсем немного времени, и что-то щелкнет внутри почти каждого из мальчишек той поры, и мы переменим свои взгляды на ровесниц — они досрочно станут «старухами», а мы обратим взоры именно к тем, кто еще только что плавился стайками «шмакодявок». Впрочем, это было выражение все-таки мужское, вернее, мальчишечьё, и, так сказать, клубное, без цитат и ссылок при объяснении с новыми лицами.

Но пока что мы танцевали со своими ровесницами, знакомыми по старшим классам. Теперь это были будущие педагогички, медички, политехнички, и забавно выяснялись скрытые пристрастия знакомых партнерш по танго и фокстротам. Только сильно принуждая себя, можно было вообразить, что красотка Ритка из сорок второй школы, поступившая в медицинский институт, станет врачом, да еще прикажет однажды и вдруг в непредвиденной ситуации:

— Раздевайтесь до пояса!

Нет уж!

Вообще первые студенческие каникулы превратились в какой-то вдоворот. От вечеров в школах, где на нашего брата, вчерашнего щенка, глядели как на почтенного подпеска — почти личность, до студенческих вечеров в драмтеатре, где никто ни на кого не глядел, а в буфете продавали пиво местного производства, которым некоторые вольнолюбивые наливались почти до горлышка. Разумеется, при помощи общенародного средства укрепления градусы.

Я на это не велся, мне было любопытно оглядеть окружающий мир, да и в голове моей, забавно вспомнить, роились не какие-то убогие мечты закадрить вон ту или эту из девичьих хороводов, а желание поскорее добраться до края вечера, и вприпрыжку — по трескучему морозу — припустить домой, обнять маму, угнездиться под стеганым одеялом и взяться за «Угрюм-реку». Вот где было истинное открытие мира!

Был у меня к тому же один старинный друг, к которому следовало поспешать, — кот Тимофей. Этот хозяин целого оврага, на краю которого стоял наш домик, был существом бывалым, многожды раненым в любовных сражениях и не только веснами, но и суровыми зимними ночами, и давно выглядел истинным ветераном. Оба уха у него было обгрызены в схватках прошлых лет, однако это его не угнетало, и он до поздней ночи охаживал свои владения, предаваясь то любовным страстям, то яростным боям. Даже в лютые морозы он возвращался домой не раньше полуночи, а давал знать о прибытии в расположение совершенно забавным и обдуманым образом.

С края сугроба, наметенного перед окном моей мальчишечьей комнатухи, он прыгал к форточке и, зацепившись когтями за ее край, подавал голос.

Сначала это был просто возглас усталого существа — мол, откройте, это я, а не кто-то другой! Если в воспитательных целях, заключающих предложение обойти дом и покричать у дверей, я форточку не открывал, Тимоха повышал голос. А потом начинал браниться!

Интонации его становились настоящими, громкими, требовательными, наконец, яростными. Можно сказать, что он просто ругался на своем котофейском языке, если даже не матюгался.

Я босыми ногами шлепал к окну, открывал форточку, он радостно прыгал на мой стол перед окошком, потом на пол, а далее прямо ко мне в кровать, в самые мои ноги — и вот тут начиналось!

Во-первых, он мурлыкал, не уступая по громкости возбужденному человеческому голосу.

Он ложился не сразу, отнюдь!

Он топтался!

Когтями Тимофей драл мое стеганое одеяло, выражая свои чувства в полный голос.

Назвать хрипом эту песню не поворачивается язык. Нет, он пел! Во весь голос пел свою котовью арию, как мог бы громopodobный артист излагать горячие чувства перед балконом возлюбленной. Но тут не было никаких возлюбленных! Был я, его закадычный друг, вчерашний мальчишка, в ногах которого он провел бесчисленное множество ночей! Наверное, он испытывал невероятное счастье вновь обрести натоптанное и належанное место сказочных снов и сновидений, в которых ведь не одни мыши бегают, но и прохаживаются прекрасные кошачьи девы, любить которых Тимке мешают дрянные бродяги иных кварталов!

Взбив одеяло, острыми когтями помучив его, Тимоха, наконец, удобно укладывался, принимал удобную позу калача. Голос его крепчал. Становился все громче. Будто бы он что-то рассказывал мне, но вот в такой, совершенно музыкальной, котовской форме. Это был истинный голос певца, и он пел радость! Пел ликование! Ни с чем не сравнимое удовольствие!

А я лежал на боку, читал книжку, изредка поглядывал на Тимоху, закрывшего глаза, но не снижавшего тона своего исполнения. Было ясно, что ему и я-то в качестве слушателя более не нужен. Он пел себе. Сам себе.

И, может быть, это было высшее наслаждение жизнью? Искреннее, беспечальное, бескрайнее.

Под песни Тимофея я тоже как-то легче жил. Трудности дня отступали. Все неприятности прятались по кустам, как Тимкины мыши при его появлении. Жизнь, а особенно жизнь будущая, манила счастливым ожиданием и надеждой.

ПОВЕСТЬ ТРЕТЬЯ

КАК ВЫЛУПЛЯЮТСЯ ПТЕНЦЫ

1

Напрыгавшись на бесцельных вечеринках — никто из девчонок, что старого, что нового племени не задевал мое взыскательное сердце, отоспавшись с Тимофеем, затихавшим только к утру, но крепко согревавшим мои ноги, начитавшись досыта «Угрюм-реки», я все же вступил в испытание.

Меня, конечно, знали в молодежной газете, но шел я туда, на сей раз безумно волнуясь, и как совсем сопливый школяр выдумывал первую фразу после того, как поздороваюсь.

Все мои репетиции полетели прахом, потому что едва я разделся в гардеробе, как из буфета вышел перекусивший, а потому, видать, довольный белобрысый толстоватый человек, который сразу воскликнул:

— О! Никак студент прибыл на побывку!

Этот человек был для меня личностью более чем недоступной — редактор той самой молодежи, где я напечатал свои первые фотографии и заметки. Все-го-то полгода назад он подписал мне рекомендацию в университет, и, хочешь не хочешь, теперь надлежало отчитаться.

А потому все четыре этажа, пока он одышливо поднимался к себе, я, искусственно сдерживая шаг, напрягался, отчитываясь. Да, мол, поступил, и первые мои заметульки в его газете сыграли поистине историческую роль, потому как я, оказалось, единственный из молодняка, а не старослужащих, то есть людей постарше возрастом, хоть где-то и хоть когда-то печатавшихся. Рассказал, как предъявил альбомчик с вырезками и сопроводительную бумагу. Все-все-все сыграло свою роль!

Мы взобрались на верхотуру, Леонид Демидович завел к себе в кабинет, усадил в огромное кожаное кресло, уселся напротив.

— Ну, ты смотри! — сказал он вдруг, слегка, конечно, улыбаясь. — Никуда в сторону не коси! Ты нам здесь нужен!

Я даже головой тряхнул, не понимая. Так и ответил:

— Не понял...

— Чего не понял? Вот кончишь университет, возвращайся сюда, нам люди нужны грамотные! С высшим образованием!

Кажется, я поперхнулся.

— Да я только поступил! Один семестр отучился! А впереди еще девять!

— Э! — махнул рукой Леонид Демидович. — Моргнуть не успеешь, как все это кончится и придется выбирать — куда. Так вот тебе не надо выбирать! Сюда!

Меня, пока этот добряк нарезал свои фразы, поощряя мое незримое будущее, и в жар, и в холод бросало. Ведь уверенностью я еще ни в чем не обладал. Ровным счетом! Получится ли из меня газетчик — да я даже думать себе запрещал о таких далеких делах.

Ну конечно, хотелось бы сесть да и написать что-нибудь такое! Чтобы все прочитали и... Вот тут-то меня и подсекало: что — и? Заплакали? Засмеялись? Возмутились тем, про что я там когда-нибудь напишу? И сам не знал. Эх, в каком это было тумане! Густушем! Но я сказал, прерывая ненужные надежды:

— Я вот зашел попробовать. Может, какое задание получить?

Эти слова будто елеем душу Демидычу смазали.

— А пойди-ка ты на шинный завод! — сказал он, буд-то давно приберегал для меня такой замысел. — Там пустили новый цех — резину делают, а из нее шины. И что ни работник, то рационализатор! Изобретатель! Вылови такого! Напиши очерк! Дадим целую полосу!

Мы встали, я подтянул поясок, исполняясь решимости, в приемной мне мигом отпечатали удостоверение внештатного корреспондента, которое редактор прилепнул печатью, первоначально расписавшись. Сказал, чтобы я прямо сейчас и добирался до шинного, а он позвонит в комсомольский комитет.

Так я оказался в громадном сооружении, чернущем изнутри от сажи, которая выделялась при производстве шин для автомобилей. Тут нелишне пояснить, что вообще-то машинного транспорта в нашем городе было маловато после войны. На неглавных улицах вообще лениво двигались подводы, запряженные лошаадьми, а то и целые коровьи стада, которых самоходом гнали к мясокомбинату. Дороги эти порядочно были унавожены, но никто на такие непорядки внимания не обращал — жизнь шла по ею установленным распорядкам. А на главных улицах нечасто двигались троллейбусы, автобусы и грузовики, большей частью, как солдаты, вернувшиеся с войны. Ремонтировали их сами шоферы, умельцы на все руки, да авторемонтные заводешки и мастерские, и хотя это должно было быть вогнать нацию в уныние, никто ему, этому унынию, не поддавался. И я тоже.

Меня от заводской проходной сначала отправили в комсомольский комитет, и истощенный, похожий на туберкулезника паренек, оказавшийся тутошним запевалой, принялся с жаром и пылом рассказывать мне о достижениях завода в целом и молодых работниках в частности. Я попробовал записывать некоторые его цифры, но в душе не понимал, что буду с ними делать, и, выдержав вежливый период, которого, по-моему, должно было хватить на описание обстановки, вежливо же спросил:

— А вы можете меня познакомить с кем-нибудь из ваших изобретателей?

— Изобретателей? — с испугом переспросил он.

— Ну, рационализаторов?

Он как-то сжался. Попробовал меня вразумить:

— Да здесь все построено на технологии. Понимаете? Когда готовится резина, работают лаборатории, испытательные стенды. Никакой отсебятины! А когда отливаются колеса — там фактически конвейер. Только успевай поворачиваться!

В общем-то, он как бы отвергал задание Леонида Демидовича, и я пошел на обострение, опасное, впрочем, для себя:

— А может, сходим, где шины делают?

Мы пошли. Этот паренек держал меня за кого-то другого, повыше и позначительней. Не зря по дороге спросил:

— Вы из Москвы?

— Нет, — ответил я. — Из уральской столицы.

Выходило в прямо противоположном направлении от возможно исходящей опасности. Он облегченно вздохнул. Но с какой стати кому-то опасаться кого-то? Тем более — меня.

И вот мы в этом цехе. Черно и жарко. Пышут какие-то печи. Здоровые парни с копчеными лицами оруду-ют какими-то кранами, те поднимают и опускают громад-ные формы, куда впахивается мягкая на вид резина, какие-то ткани. Потом эта форма, похожая на ракушку, захлопывается, ее опускают в печь. Температура там, похоже, высоченная, вот тут-то и вырывается залп огня с копотью. Потом ракушка выезжает обратно, ставится на ребро, раскрывается, и из нее достают готовую шину.

— Для «студебекеров», — объяснил мне паренек. А увидев мой непросвещенный взгляд, уточнил: — Для «катуш».

Для «катуш», поразился я. Война же кончилась? Но худощавый вдруг радостно воскликнул:

— Видите! Все парни! А вон девчонка! В красном платке. Единственная среди мужиков. Ее зовут Женя! У нее план всегда 150! Печет свои блины ловчей всех!

Вот этим-то он и склонил меня к мелким неприятно-стям и сомнительным сравнениям.

Смена заканчивалась через час, и мне пришлось торчать в шинном цехе, пытаясь уловить в грохоте, ко-поти и жаре свой порядок. Он, конечно, был. Но не для пришедшего человека с гуманитарными мечтами.

Опекавший меня парень был крайне нетерпелив, он то выбегал позвонить, то возвращался и урывками рас-сказывал некоторые подробности про Женю. Оказа-лось, что она из детского дома и никого у нее нет из родных, погибли на войне, а ей дали заводское обще-житие. Еще он предупредил, что Женя не любит вспо-минать детский дом, сейчас учится в школе рабочей молодежи и будет поступать в химико-технологический институт имени Менделеева в Москве. Оказалось, что своей этой рабочей специальностью она училась у стар-ейшего мастера, и он ей изо всех сил почему-то по-могал, вместо того чтобы отговорить. Потому как об-щепризнано, что выпекать такие колеса, да потом еще и с силой выколачивать их из формы таким коротким ломиком — совершенно не женское дело. Но у нас все равны, улыбался секретарь, явно одобряя Женин путь к равноправию. Правда, тот ее наставник, пояснил, слег-ка понурясь, секретарь, недавно умер.

Словом, пока я, обливаясь потом, издали разгляды-вал довольно хрупкую стахановку, как бы даже танцу-

ющую с электропультом в руках, крепящую цепи, рас-пахивающую глотку горячей печи, пока я разглядывал ее красный платочек на голове, сравнивал с неторопли-выми, как казалось, липкими от пота мужиками по со-седству, стала возникать во мне этакая сценарная канва.

Погибают на войне родители — герои, упавшую на-земь малышку подхватывают солдаты, она в эшелоне, какие-то добрые женщины кормят ее из дюралевой кружки, дальше — детский дом, строгий взгляд взро-слеющей девушки, ремеслуха на заводе и этот горячий выбор, осиянный алой косынкой на голове, — парус мечты из волшебной книги, которая становится реаль-ностью...

2

К концу смены, просто посидев на каком-то при-ступке или отапывая более или менее чистый край чер-ного и жаркого цеха, я, будучи тренированным паца-ном, уже не знал, когда это кончится.

Пересменка произошла незаметно, почти невзна-чай, просто к потным и грязным мужикам у ракушек подошли другие мужики, почище, и дело ни на минуту не остановилось. Только вот Женин красный платочек я потерял из виду. Не знаю, что стал и делать, если бы не болезненный комсорг. Он вышел из полутьмы, махнул мне рукой, мы вышли во двор и уселись на заснежен-ную лавочку.

— Сейчас она примет душ и придет к нам, — пояс-нил он.

И вот к нам приблизилась Женя. Секретарь, нежи-данно сменив тон, прибавив в голос железа, сказал, что он рекомендует ее для разговора со мной, корреспон-дентом с Урала, потому что именно там обувают нашу резину на «студебекеры» с «катушей». Откуда он все это выдумал? Но я не стал тратить время на спор, при-гласил Женю на морозную скамеечку, а руководитель временно скрылся.

Впрочем, он скрылся не временно, а навсегда, но это было мне еще неизвестно, и я спросил Женю пер-вое, что в голову пришло:

— И как вы все это выдерживаете?

Она пожала плечами:

— Раз надо!

— А правда, будто вы сами эту вот специальность вы-брали? Ведь тяжело! Девушке-то?

— Куда сунули, туда и пошла! — понурила голову. — Заступитья некому!

— Не похоже, — заметил я, — что за вас надо за-ступаться.

— Да, пожалуй, правда, — невесело усмехну-лась она.

— Так вы сюда сами напросились или как?

— Ну, можно и так сказать, если кому-то надо.

— А вам?

— Ну, может, и мне надо, не знаю.

Мы помолчали. Я попробовал, согласно художественным канонам, взглянуть в лицо своей грядущей героини, но что-то нескладно получалось. Было оно гладким, равнодушным, ничего не выражающим.

Я предложил двигаться к проходной, надеясь по дороге выяснить остальное. Спросил насчет Менделеевского института и был уязвлен в самую душу. Девушка переспросила:

— А что за Менделеевский?

Набравшись духу, я повторил, объяснил. Она пожала плечами:

— Не слыхивала. Да еще в девятом учусь, в шэрээм-то¹. Когда еще кончу! И надо ли — устаю на работе, иногда на уроках засыпаю, и надо мной смеются!

Ну и влип я! Образ, который я придумал, не без помощи, конечно, комсорга, совсем не совпадал с реальностью.

— Ну, хорошо, — спросил я, теряя всякие надежды, — а красную косынку ты почему носишь? По каким соображениям?

— Да без соображений, — ответила Женя, — всучил мне зачем-то наш комсорг, даже пару, велит: носи. — Она наивно улыбнулась. — Мне бы белая-то басче пошла, да ведь пачкаться станет. Стирай каждый день.

Это слово — «басче», значит, «красивее», — мне было известно. Но означало оно еще, что Женя-то — довольно-таки деревенская гражданка, и как она пойдет в Менделеевку, по пути, предначертанном кем-то, и когда, и не надорвется ли, как ее учитель, на этот тяжеленной работе, — расстраивало вконец мои помыслы о создании образа мечтательной и самоотверженной трудяги.

Мы прошли сколько-то шагов молча. И тут я брякнул:

— Давай-ка, Женя, я напишу про тебя так, какой ты мне видишься. А ты не удивляйся, если что не совпадет.

Пока что она кивала, не глядя на меня. А я заливался.

— Я буду писать про тебя очень хорошо. Может, этого на самом деле и нет.

— Вроде сказки! — улыбнулась она.

— Нет! — входил я в небывалую для себя роль. — В виде мечты! Ты читала «Алые паруса» Грина?

Она мотнула головой. Ну, конечно, его не все читали. Пришлось выворачиваться:

— Это про мечту! Представляешь, бедная девушка. По имени Ассоль! Мечтает полюбить молодого капита-

на Грея! И хочет, чтобы он увез ее на корабле! С алыми парусами! Ей такой сон приснился! И вдруг на самом деле приходит корабль с этими алыми парусами! И на нем молодой капитан. Мечта сбылась!

— Как, говоришь, ее звали? — с интересом повернулась ко мне Женя.

— Ассоль.

— Не наше имя, — вздохнула она. — Заграничное.

И вдруг остановилась:

— А ведь у меня хорошее имя, правда? Женя! Евгения! Женюточка! — И сразу нахмурилась: — Да пиши чего хочешь! — Еще через несколько шагов спросила: — А меня не посодют?

— Э-э, — ответил я, — если и посодют, то меня.

3

Как же тяжело давалась мне эта выдумка! Для начала, вернувшись домой, я спохватился, что забыл спросить фамилию Жени. Сейчас-то я догадываюсь, что таким странным образом мне подсобляла судьба: обойдись я без фамилии, и получился бы рассказишко, пусть худенький и лживый, но — ничего, мало ли вокруг печатается такого.

Я, впрочем, и начал писать без фамилии, вставил первую, на ум пришедшую — Иванова, и принялся фантазировать. Проще всего удалось предисловие — про Ассоль и алые паруса, потом у меня вместо Ассоль появляется Женя Иванова, которая тоже стоит на берегу, но не моря, а нашей реки, которую, конечно же, из желтой и мутноватой пришлось перекрасить в цвет голубой, как красивую мечту. Однако мечты теперь, как бы намекает автор, осуществляются не на берегах пусть и голубых рек, а в цехах, внешне, может, и не очень-то светлых от сажи, но очень горячих, даже жарких, где девушка принимает решение трудиться наравне с мужиками-гвардейцами: она печет, как былинная мастерица, не хлеба, а черные сияющие круги — шины на автомобильные колеса. В них обуют многосильные грузовики.

Главную трудовую картину я описал довольно правдиво — как с электропультом в руке Женя Иванова легко передвигается возле печи, как вынимает оттуда ракушки — здоровенные плоские и закрытые сковороды, в которых млеет превосходное блюдо отечественного автостроения.

По ходу сочинения все укладывалось в этикие полухудожественные вставочки — и война, и погибшие родители, и детский дом с его тоской и одиночеством, и завод, который принял ее, естественно, как родную, и шэрээм, где она засыпает от усталости на уроках, а во сне ей снится Московский химико-технологический институт имени Менделеева.

¹ШРМ — школа рабочей молодежи (прим. ред.).

Сочинив все это в общей тетрадке из 48 листов, я отправился не в редакцию, а к старому другу Кимке, у которого, по причине значительности его родителей, был домашний телефон. Не без труда отыскал по нему того самого художавого комсорга, напомнил о себе и попросил, из-за моего немедленного отъезда, заслушать сочинение по проводам.

Я принялся вдохновенно читать ему свой опус, но он не из тех был собеседников, кто готов погружаться в чужие слова с полным вниманием. Пока я читал, он, раз двадцать извинившись, кому-то и что-то отвечал по другому телефону, видать, внутреннему, заводскому, затем, опять извинившись, давал какие-то указания своим, что ли, работникам или активистам — таким образом мой порыв был заведомо смят и уничтожен.

Сдерживая себя изо всех сил, потев и ненавидя свое сочинение, я с трудом дочитал его небрежному слушателю. В конце он как-то притих и вдруг меня просто-таки ударил:

— Да вы гений! Это просто замечательно! Поздравляю! Спасибо!

— Скажите, а как настоящая Женина фамилия? — перебил его я.

— Иванова! — воскликнул он.

И я — ну точно! — провалился сквозь Кимкин диван. Вот это был номер! Я угадал фамилию своей героини! Но что-то же это мне подсказало! Какое-то неведомое мне наитие или как? На голубой обложке общей тетради я написал название — «Алые паруса». И рядом — имя. Только не Грина, а свое. Причем без кавычек, хотя бы. Я, видать, был так незрел, что оценить даже собственную наглость оказался не в состоянии. И оттаранил тетрадку в редакцию.

Демидыча не было, пришлось оставить сочинение Святославу Владимировичу, ответственному секретарю. Был он редковолосым, но румяным, с приветливыми голубыми глазками, одобряющими все, что попадало в его обозрение, но всегда в валенках с калошами — видать, мерзли ноги.

Он попробовал было тут же читать мое сочинение, но я сразу понял, что мне тогда не уехать. И поступил стыдно и непрофессионально, просто по-любительски. Сказал, что вечером поезд, а у меня еще дела, и пусть уж они, пожалуйста, разберутся с моим опусом сами, принимая это во внимание, и если сочинение не понравится, то и отправят его в корзину.

С тем и выскочил на улицу.

Нехорошо. Так не поступают настоящие газетчики.

Продолжение следует.

